Наше
Рождество
Рассказы,
очерки,
воспоминания

Сборник
Наше Рождество. Рассказы, очерки, воспоминания
Серия «Рождество приходит к нам»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=67967429
Наше Рождество. Рассказы, очерки, воспоминания: РИПОЛ классик; Москва; 2017
ISBN 978-5-386-10336-1

Аннотация

Когда мороз рисует на окнах волшебные узоры, на дорожках загадочно блестит снег, а улицы наряжаются в яркие гирлянды, люди празднуют самые светлые и чудесные праздники – Рождество и Новый год. В эти дни особенно хочется порадовать родных и близких приятными подарками!

Разделите с великими писателями самые теплые и яркие воспоминания и впечатления о Рождестве!

Содержание

К.П. Победоносцев 7
Рождество Христово 8
Н.А. Полевой 12
Святочные рассказы 13
М.Е. Салтыков-Щедрин 32
Елка 33
М.Е. Салтыков-Щедрин 46
Святочный рассказ 47
I 47
II 67
Конец ознакомительного фрагмента. 79

Наше Рождество
Рассказы, очерки, воспоминания

НАШЕ РОЖДЕСТВО

РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ, ВОСПОМИНАНИЯ

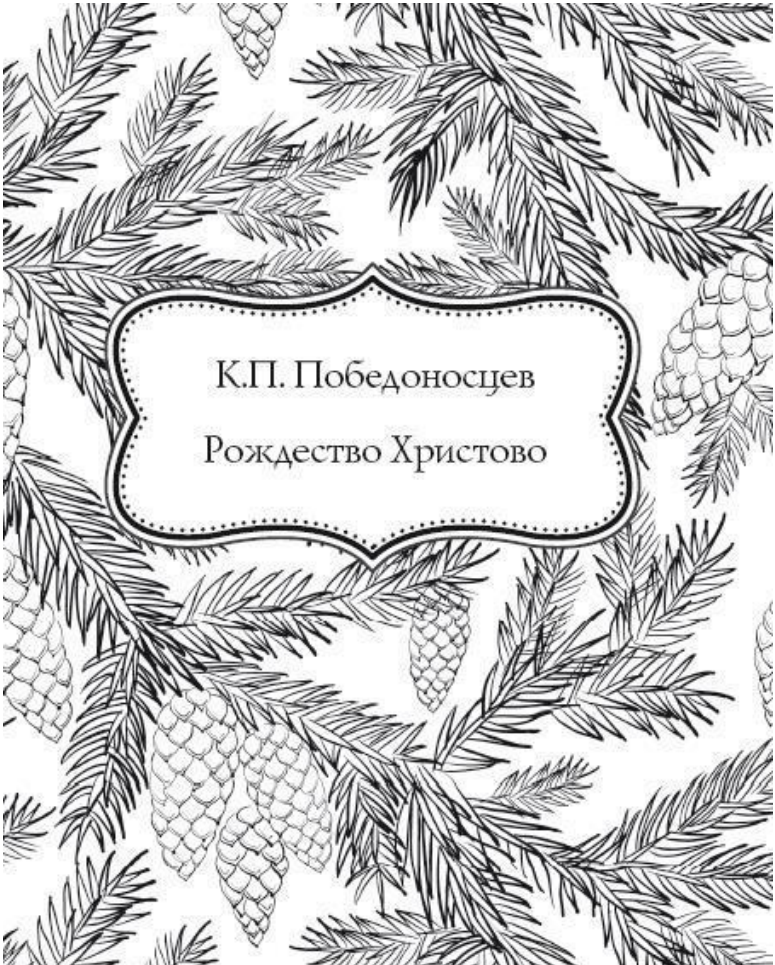
РИПОЛ КЛАССИК

Москва

Допущено к распространению Издательским советом Русской Православной Церкви ИС Р17-714-0550

© Издание, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2017

К.П. Победоносцев



Рождество Христово

Рождество Христово и святая Пасха – праздники, по преимуществу, детские, и в них как будто исполняется сила слов Христовых: «Аще не будете яко дети, не имате внити в Царствие Божие». Прочие праздники не столь доступны детскому разумению, и любезны для детей более по внешней обстановке, нежели по внутреннему значению…

Однако же и из двух названных больших праздников – дитя скорее поймет и примет простым чувством Рождество Христово.

Как счастлив ребенок, которому удавалось слышать от благочестивой матери простые рассказы о Рождестве Христа Спасителя! Как счастлива и мать, которая, рассказывая святую и трогательную повесть, встречала живое любопытство

и сочувствие в своем ребенке, и сама слышала от него вопросы, в коих детская фантазия так любит разыгрываться, и, вдохновляясь этими вопросами, спешила передавать своему дитяти собственное благочестивое чувство. Для детского воображения так много привлекательного в этом рассказе.

Тихая ночь над полями палестинскими – уединенный вертеп – ясли, обставленные теми домашними животными, которые знакомы ребенку по первым впечатлениям памяти, – в яслях повитый Младенец и над Ним кроткая, любящая Мать с задумчивым взором и с ясною улыбкой материнского счастья – три великолепных царя, идущих за звездою к убогому вертепу с дарами – и вдали на поле пастухи посреди своего стада, внимающие радостной вести Ангела и таинственному хору сил небесных. Потом злодей Ирод, преследующий невинного Младенца; избиение младенцев в Вифлееме – потом путешествие Святого семейства в Египет – сколько во всем этом жизни и действия, сколько интереса для ребенка!

Старая и никогда не стареющая повесть! Как она была привлекательна для детского слуха, и как скоро сживалось с нею детское понятие! Оттого-то, лишь только приведешь себе на память эту простую повесть, воскресает в душе целый мир, воскресает все давно прошедшее детство с его обстановкою, со всеми лицами, окружавшими его, со всеми радостями его, возвращается в душу то же таинственное ожидание чего-то, которое всегда бывало перед праздником. Что было бы с нами, если бы не было в жизни таких минут дет-

ского восторга!

Таков вечер перед Рождеством: вернулся я от всенощной и сижу дома в той же комнате, в которой прошло все мое детство; на том же месте, где стояла колыбель моя, потом моя детская постелька, – стоит теперь мое кресло перед письменным столом. Вот окно, у которого сиживала старуха няня и уговаривала ложиться спать, тогда как спать не хотелось, потому что в душе было волнение – ожидание чего-то радостного, чего-то торжественного на утро. То не было ожидание подарков – нет, – чуялось душе точно, что завтра будет день необыкновенный, светлый, радостный, и что-то великое совершаться будет. Бывало, ляжешь, а колокол разбудит тебя перед заутреней, и няня, вставшая, чтобы идти в церковь, опять должна уговаривать ребенка, чтобы заснуть.

Боже! Это же ожидание детских дней ощущаю я в себе и теперь… Как все во мне тихо, как все во мне торжественно! Как все во мне дышит чувством прежних лет, – и с какою духовною алчностью ожидаю я торжественного утра. Это чувство – драгоценнейший дар неба, посылаемый среди мирского шума и суеты взрослым людям, чтобы они живо вспомнили то время, когда были детьми, следовательно, были ближе к Богу и непосредственнее, чем когда-либо, принимали от Него жизнь, свет, день, пищу, радость, любовь – и все, чем красен для человека мир Божий.

Но это ожидание – радости великой и великого торжества – у ребенка никогда не обманывалось. У ребенка минута

ожидания так сливалась с минутою наслаждения и удовлетворения, что не было возможности уловить переход или середину. Ребенок просыпался утром – и непременно находил то, о чем думал вечером, встречал наяву то, о чем говорили ему детские сны: существенность для ребенка – не то же ли, что сон; сон его не то же ли, что существенность? Ребенок утром просыпался окруженный теми же благами жизни детской, которые бессознательно принимал каждый день, – только, освещенные праздничным светом, лица, его окружавшие, были веселее, ласки живее, игры одушевленнее. Чего же более для ребенка? Ребенок не жалел на утро о том, чего ожидал вечером: как было бессознательно вчерашнее ожидание, так и утреннее наслаждение было бессознательно…

О великая таинственная ночь! О, светлое, торжественное утро! Если забуду тебя, если останусь равнодушен к тебе, если перестану слышать те речи и словеса, коих гласы слышатся в тебе всякой душе верующей, – стало быть, я забуду свое детство, свою жизнь и самую вечность… ибо что иное вечность блаженная, как не вечная радость младенца перед лицом Божиим!

Н.А. Полевой

Святочные рассказы

В Москве, доброй, как называл ее Карамзин, живало в прежние годы много стариков, живых летописцев прошедшего. Удаленные от шума столицы на Пресненские Пруды, в Замоскворечье, на Земляной Город, они тихо доживали и договаривали свой век: человек любит поговорить, когда не может действовать; кто действует, тот говорит мало. Я узнал Москву давно и слышал еще в ней рассказы и были елисаветинского и екатерининского века; видел людей в пожелтелых мундирах, с белыми, как снег, головами, с кагульскими рубцами на лице и со значками за взятие и завоевание Крыма. Я был тогда еще молод, но уже любил слушать их бесконечные рассказы, любил переселяться с ними от действительности к прошедшему. Когда мне бывало грустно, когда мне бывало

весело, я всегда охотно слушал добрых стариков, рассказывавших мне свои были и небылицы: они переносили меня в круг людей, давно не существовавших, живо рисовали предо мною и ужасы московской чумы, и бунт Пугачева, и китайское посольство в Петербург, и шведского адмирала, пленявшего всех московских красавиц, лет за сорок до нашего времени. Русские сказки, русские рассказы и повести всегда мне нравились, и могу ли исчислить все, что я переслушал от добрых старожилов московских! Могу ли передать вам все их предания о мечтах и надеждах, давно уснувших с мечтателями, о порывах сердец, кипевших сильными страстями и давно охолодевших в могиле, о старых поверьях и обычаях!

Хочу, однако ж, рассказывать иногда вам, друзья мои, кое-что из того, что сам слыхивал, и вот теперь, кстати на Святках, послушайте, что мне удалось услышать в один только вечер в беседе нескольких стариков.

Вам нет надобности знать, сколько лет прошло тому, как жил в Москве один человек старый, добрый, любезный, словоохотливый. Много, мало: не все ли равно? Я уважал его как старика и любил как человека. В его семействе провел я несколько часов счастливой юности. Тогда еще глядел я на свет сквозь призму надежд, жил в области мечтаний. Улыбка прелестной девушки

И соловей в тени дубравы,
И шум безвестного ручья

радовали меня чистою, беспритворною радостью! Когда вечером, вокруг камина, собиралось доброе семейство моего старого друга, когда ты оживляла его собою, ты, которую я назвать не смею, которая после отказалась от счастья и променяла его на блестящую куклу большого света: я счастлив бывал в то время! Но полно о ней! Скажу вам, что дружеская беседа наша украшалась иногда присутствием старинных друзей нашего хозяина, также разговорчивых, веселых и добродушных.

Были, как теперь, Святки. Где мог я лучше и веселее провести длинный зимний вечер, если не у моего старого друга? Еду к нему. Погода была несносная: снег хлопьями падал, и сугробы его переносило вихрем с места на место. Тем милее было после трудного путешествия отдохнуть в теплой, светлой комнате, с людьми счастливыми и веселыми.

Я застал полное собрание. Хозяин, в своем колпаке и татарском халате, занимал главное место возле камина. Дым вился из трубки его сослуживца, суворовского воина, подле которого сидел наш общий знакомец (назовем его хотя Терновский: Милоны, Добровы и Правдины уже надоели нам в русских комедиях). Это был добрый философ, который верил всем привидениям, всем колдунам, всему чудесному на свете и все старался изъяснять, как он говорил, естественным образом. Присовокуплю к этому Шумилова, доброго старика, который на своем веку объездил пол-России, видел

все, что рассказывал, рассказывал обо всем, что видел, и был записной охотник рассказывать русские были и сказки. Я застал у них жаркий спор о каком-то деле первой Турецкой кампании, но в то же время заметил желание хозяина говорить о чем-то другом.

У него была странная привычка говорить всегда о том, что прилично времени и обстоятельствам. Кроме обыкновенных рассказов о его путешествии на Кавказ, поездке в Польшу и знакомстве там с Костюшкою (об этом когда-нибудь расскажу вам особо), он любил поговорить о политике, когда получал газеты, о полярных землях зимою, об Африке в жаркий летний день и о привидениях накануне Ивана Купалы.

Круто повернул он разговор, спрашивая меня о погоде, и известил, что все его домашние уехали на вечер к одному из знакомых. «Я думал, – прибавил он, – что и ты там будешь».

– Нет! Меня звали, но я отказался.

– А для чего? Пока молодость, надобно веселиться и играть жизнью. Будет пора и для тебя, когда дома, подле камина, будешь казаться веселее, нежели на бале.

– А вы сами всегда следовали этому правилу?

– О! да как еще следовал! На меня не пожалуются мои ровесницы, чтобы я скуп бывал на ласковые приветствия и мадригалы, и в менуэте a la Reine[1] никто лучше меня не умел вытянуть ноги, учтивее приветствовать свою даму. Вы, нынешние молодые люди, сидни, а мы были настоящими мо-

---

[1] Королевы *(фр)*

лодцами.

– Напротив, ныне жалуются на ветреность молодых людей.

– Правда, но ведь это вечная жалоба; а разбери-ка хорошенько, то увидишь, что вы сделались увальнями против нас и заменяете все какою-то американскою дикостью! Нет правила без исключений (прибавил он, пожимая мою руку). Я говорю вообще. Начнем с нашего убора: какие мы были щеголи! Стальные светлые пуговицы, барсовые, полосатые кафтаны, пряжки на башмаках, двое часов с огромными пучками привесок; можно ли сравнить ваши темные куртки, вашу матросскую одежу с таким великолепным нарядом! А учтивость? Дама казалась царицей в нашем кругу; вы оборачиваетесь к дамам спиною, толкаете их и не думаете уважать.

– Знаешь ли, когда это началось? – сказал суворовский сослуживец. – С Французской революции. Тогда как мы били революционеров в Италии, наши дамы ахали от всклоченных их голов, от либерального платья их, остригли себе волосы, надели парики…

– Но что ж тут худого? – подхватил Шумилов. – Все это в порядке вещей: ныне любят простоту, менее блеску снаружи, больше внутреннего достоинства.

– Если бы так! – сказал хозяин. – А беда в том, что, мне кажется, нынешняя молодежь те же стеклянные куклы, что были мы, только мы были прозрачные, хоть сквозь глядись, а ныне этих кукол красят темной краской.

– Ты противоречишь естественным действиям природы, – возразил Терновский. – Свет делается не хуже, а лучше: это решенная задача. Только наша братья старики твердят, что свет стал или становится хуже.

– Друг мой! Этого я никогда не скажу; а дело в том, что свет твой, становясь умнее, не делается счастливее.

– Что такое счастье? Понятие относительное! Кто становится лучше, тот должен быть счастливее.

– Похоже на силлогизм; да воля твоя, а прежде как-то было живее. Мы больше умели жить: были молоды в молодости и оттого дожили до седых волос; но Бог знает, увидят ли наши потомки стариков из нынешнего времени. Теперь стареют так рано и оттого, может быть, не успевают жить или, боясь не успеть, спешат жить и оттого рано стареют. У нас было прошедшее, настоящее и будущее; теперь живут в одном настоящем. Молодежь не думает о будущем, а мы только твердим о прошедшем; жизнь развивается, как часовая гиря: часы бьют, всякий человек говорит: как поздно! и слова пролетают со звоном часового колокольчика, пока гиря стукнет в пол…

– Тогда ее опять заведут, – сказал, смеясь, Шумилов, – и опять часовой колокольчик начинает названивать: летит невозвратное время! Это было давно сказано.

– Может быть, я худо выразил свою мысль, – отвечал хозяин, – говоря, что прежде живее умели жить…

– Разумеется, живее, как дети, которые лучше взрослых

умеют восхищаться игрушкой.

– Хорошо, да кто счастливее: дитя ли с своей игрушкой или философ, исчахший над истинами. Ты говоришь: свет стал умнее! Бог знает, мой друг! Полно, не умничает ли он больше прежнего? Сердечно радуюсь нынешнему философскому веку, а как ни смотрю на людей, они все те же люди; те же, а важная разница! Прежде больше было этого, как бы сказать, веселья жизни, без которого в свете холодно, как без печки в трескучий мороз. Оно, коли хотите, обманывает нас своим волшебным фонариком, но людям с ним весело.

– Ты глядишь на свет с одной стороны, – сказал Терновский.

– Со стороны сердца! Шалун Вольтер был очень прав и, вероятно, от сердца сказал, оканчивая забавную свою сказочку —

Le raisonneur tristement s'accredite;
On court, helas! apres la verite;
Ach! croyez – moi, l'erreur a son merite.[2]

– Разумеется. Голая истина еще не по веку гостья. Я уверен, что она ужаснула бы нынешнего человека, если бы он взглянул на нее лицом к лицу.

– Вот: насилу ты со мной соглашаешься! Зачем же свет

---

[2] Печально, но верят лишь резонеру;Гоняясь, увы, за плоской истиной;Ах, поверьте мне, заблуждения имеют свою прелесть *(фр)*

отказывается от своей юности: еще рано и спешить бы незачем. Истина только выглядывает еще из своего колодца; ей дают щелчки, и она опять прячется. Ум человеческий еще бродит в костылях глупости, когда сильная подагра мешает ей самой шататься в мире.

– По миру, – сказал Терновский, – доброхотных дателей довольно, а люди, как разносчики, ходят между тем и кричат: «Ум! свежий ум!» Развернешь коробочку: она пустая.

Все засмеялись.

– Что мы зафилософствовали, – сказал суворовский сослуживец, – примеров нечего искать далеко. По-моему, старый век и новый век то же, что старый серебряный рубль и новый.

– Сравнение недурно, – сказал Шумилов, – но ведь новый рубль все рубль для того, у кого нет старого: так и в свете; и знаете ли что? Я помню, когда я был в Сибири и мне надобно было заплатить якутскому шаману за ворожбу его, я вынул два рубля и хотел отдать ему старый, он сказал мне: «Теен бачка! Дай мне вон этот светленький!»

– Да светленький ли наш век? Он похож на монету, на которой клеймо худо выбито.

– Вспомни старое, приятель! – сказал хозяин. – У нашей монеты клеймо было грубее, да яснее. Посмотри хотя на нынешние веселья: такое однообразие, все так расхоложено! В танцах ходят, с радости делают гримасы и с горя улыбаются. Мы плакали с горя, зато с радости хохотали. Повторяю, что

сказал: прежде бывало больше житья, больше разнообразия в бытье!

– Если хотите, – сказал Терновский, – то чем далее в старину, тем бывало больше. Таковы естественные действия природы. Выигрывая в уме, мы теряем в сердце. Наши предки оживляли все: у них являлись духи, привидения, волшебники, а мы знаем, что все это естественные действия природы.

– И жаль, что мы это знаем, – прибавил Шумилов. – Нынешним стихотворцам горе, да и только: нечего списывать с самих себя! А посмотрите, сколько найдут они в старине нашей и иноземной!

– И посмотри, как охотно всякий поделится с нами наслаждением стариною, – сказал хозяин. – Нет! право, мы еще жили если не лучше, так веселее. Возьмем спроста: вот теперь Святки. Чем отличаются они от Святой недели? У нас на все был свой манер! Бывало, о Святой мы строим качели, о масляной катаемся с гор, а о Святках поем подблюдные песни.

– Загляните ж в старину постарее нашей, – сказал Терновский. – Уж и мы более смотрели на эти игры, а предки наши более играли в них сами. Да и я люблю старину, хоть не соглашаюсь, что тогда было лучше. Я люблю ее, как дитя, которое беспечно и невинно, боится трубочиста, оттого что он черен и с хлопушкой в руках прыгает от радости.

Тут начался между ними разговор о старине, об ее весе-

льях и забавах.

– Помнишь, – сказал хозяин Шумилову, – наши святочные вечера! Бывало, соберется народу множество и пойдет потеха. Днем катанье: саней пятьдесят едут одни за другими, что говорится, дуга на дуге, как свадебный поезд; вечером начнутся фанты, песни, гаданье: бегаем полоть снег, слушать под окнами…

– Девушки выбегают за ворота спрашивать имена прохожих и крепко, бывало, верят, что так зовут жениха, как скажется прохожий, а мы проказим, – сказал Шумилов.

– А иголка в жерновах разве правды не сказывала? Бедная иголка пищит, а ворожеи угадывают: чье имя выговаривает страдалица.

– Мало ли проказ, – сказал, смеючись, Шумилов, – но спросите меня: я видал, как в Сибири прежде проводили Святки. Вот уж праздник! Что за веселье! Старики и старухи, молодежь, дети ходят в гости с утра до вечера. У всякого на столе питеры и едеры, как говорят сибиряки. Русскому хлебосольству полный разгул. Хворосты, тарки, сахарники взгромождены на столах горами; самовары кипят беспрестанно. От мороза кровли трещат и ставни палят, как из пушек, а в горницах тепло и жарко. В шубах, в шапках, в теплых сапогах, сибиряки и сибирячки толпами выезжают на бег: там большие охотники до бегунов: сибирские рысаки и иноходцы мчатся, как вихорь. Иззябнув, все едут пить чай к победителю. Начинаются здоровья, пир горою! Вина кипят,

смеркается, пойдут игры: старики садятся кружками и смотрят, как красивый мужчина или хорошенькая девушка, с завязанными глазами, под хлопанье жгутов ловит рассыпанных неприятелей своих. Смех! хохот! Иной, бегая из угла в угол, бежит от ловца в другую комнату. «Он сгорел!» – кричат все, и преступник заступает место слепца. Ах! как мне нравятся также другие простые святочные игры сибиряков! Знаете ли вы, как растят мак?

– Я сам бывал маком! – вскричал суворовский. – Бывало, поставят меня в кружок, пляшут, поют и спрашивают: «Поспел ли мак?» Но мак сперва сеют, полют, он цветет, а потом, поспелый, все щиплют!

– Я слыхал, – примолвил Шумилов, – что многие святочные игры перешли к нам от греков когда-то в старину. Вспомните игру заплетать плетень, когда лентами перепутывается весь хоровод и поют:

Заплетися, плетень, заплетися.
Ты завейся, труба золотая,
Завернися, калька хрущатая!

Это, говорят знатоки, подражание греческой игре, а игрой этой греки славили память Тезея и убиение Минотавра с помощью Ариадниной нитки. А жив, жив курилка также игра греческая. Зато у нас есть свои русские игры и обычаи святочные. Знаете, что такое колядованье в Малороссии?

– Слыхал, и мне жаль, что не соберут в какой-нибудь

книге всех святочных русских обычаев, игр, песен. Прежде праздник Святок праздновали, бывало, до самого Крещенья. С самой заутрени первого дня начиналось Христославленье. Петр Великий любил этот патриархальный обряд. Толпы народа ходили из дома в дом, приятели к приятелям и незнакомые к незнакомым, петь духовные стихиры:

«Христос рождается, славите!» За ними мастера проговаривали рацеи. Одна из них особенно известна по всей России, вот как она начинается:

Нова радость, во всем мире,
Ныне нам явися!

Кроме обедов, пирушек и бесед вечера посвящались играм и пенью подблюдных песен.

– Ты забываешь о других святочных увеселениях, – сказал суворовский, – я еще помню, как в Москве в это время бывали лошадиные беги, кулачные бои. Я помню, что покойный граф А. Г. О. был страшный охотник до всяких русских игр. Народу соберутся кучи: ура! стена на стену… о росский бодрственный народ! И тут, бывало, от шутки доходит до дела…

– В маленьких украинских городах кулачный бой занимает и теперь всех. Недавно проезжал я через Богодухов: некому было лошадей запрячь: все на кулачном бою; шум и крик, и целый город бьется!

– А согласитесь, – сказал хозяин, – кто сообразит все, что бывает у нас на Руси о Святках, тот хорошо поймет дух русского народа, веселого, доброго, славного! О Святках раздолье русскому духу!

– И духам, – примолвил, засмеявшись, Шумилов, – вы знаете, что до самого Крещенья мертвецы, духи, колдуны, ведьмы свободно разгуливают и проказят. У них есть привилегированные дни.

– То есть ты хочешь сказать, что их вовсе нет? – спросил Терновский.

– Разумеется! Думаю, что из всех нас никто не поверит, если ты скажешь, что даже сам видел духов.

– Любезный, – отвечал Терновский, – я верю духам, только по-своему.

– Расскажи, пожалуй, как же это! – закричали все.

– Согласитесь со мной, друзья мои, – сказал Терновский важным голосом, – что в природе много еще есть тайного и не открытого нами. Я никак не ограничиваю человеческие чувства только известными чувствами, которыми равно обладают и обезьяны, и звери. Если у нас есть что-нибудь для вмещения того, что мы называем умом, то оно должно и являться в некоторых открытых явлениях.

– Следственно? – спросил Шумилов.

– Следственно, все то, что кажется нам непонятным, не может быть отвергаемо, а должно приписывать этому тайному или этим тайным чувствам и расположениям. То есть, что

я отношу к этому, есть симпатия, второе антипатия, третье…

– Полно мечтать, мой друг! С твоими предположениями можно все привести к естественным следствиям.

– Когда можно, почему ж не должно?

– Потому не должно, – сказал Шумилов, – что все твои естественные следствия в этом случае почти всегда сказки, перевранные, измененные, плоды расстроенного воображения.

– Часто, но не всегда: я приведу тебе множество доказательств, которых без моих предположений никак не изъяснить. Например: физиогномия, знание, врожденное человеку, хотя его и отвергают, ничем не опровергаемо. Не всякий ли из нас чувствует симпатическое стремление к одному и антипатическое отвращение от другого человека?

– Вздор! Это просто какое-то сходство сложений человеческих, более или менее близких или далеких тому или другому человеку.

– Стало, ты признаешь некоторую общность в человечестве? А предчувствия, сны, видения самого себя: это дела, не подверженные сомнению. Горные шотландцы имеют особенное свойство двойного зрения, потому что чувства их утонченнее наших: они знают, что в такое-то время их посетит незнакомец, видят его и опишут вам наперед, каков он собою.

– А если это тонкий обман? – сказал суворовский сослуживец.

– Ты рубишь с плеча, по-суворовски! – отвечал, смеясь, Терновский. – Если я тебе приведу множество примеров людей, которые, не думая обманывать, видели необыкновенные явления. Знаешь ли, что Наполеон всегда видел на небе светлую звезду?

– А если эта блестящая звезда была одна комедия, игранная Наполеоном лет десяток: что ты скажешь на это? Разве у Нумы Помпилия не было нимфы Эгерии, у Сертория не было приученного оленя, у Магомета ручного голубя?

– Сказки! – сказал Шумилов.

– Я так думаю, что не совсем сказки. Положим, что многие из умных людей употребляли хитрости с простым народом; но если видим разницу в зрении, слухе, осязании, обонянии людей, почему не предположить дальнейших границ даже самым этим чувствам? Я знаю в Москве одного правдивого человека, который твердо уверен, что, пока не явится ему друг его, с которым условились они видеться в час смерти, он не умрет.

– Вот в этом-то твердом уверении, кажется, и вся тайна, – сказал Шумилов. – От нее произошли все приметы, причуды, вера в сны, предчувствия. Можно приучить свои телесные чувства, можно приучить и душевные способности ко многому. Я знал одного человека, замечательного, необыкновенного. Это был наш славный мореплаватель Шелихов. Вы о нем слыхали. Он твердо верил снам, предчувствиям, приметам. Вот что рассказал мне один близкий его

знакомец. Как теперь вижу, говорил он мне, когда мы ехали в Охотск вместе, не доезжая верст за сто, Шелихов сделался задумчив, беспокоен и важно сказал мне: «Приехав в Охотск, мы найдем судно, пришедшее из Америки». Я удивился, стал спорить и вывел его из терпения: он был горячего, пылкого характера и с сердцем сказал мне: «Так знай же, что едва выедем мы на Охотскую кошку, как судно будет в виду у нас (кошкой называют там длинную песчаную косу, на которой стоит Охотск). Судно это мое и с богатым грузом!» Едем спокойно и – только что мы приближились к песчаной Охотской кошке, в море показалось судно. Оно точно принадлежало Шелихову и было с богатым грузом. Что этот анекдот достоверен, ручаюсь вам; что Шелихов не мог знать о прибытии судна никаким образом, вы согласитесь сами. Надобно вам знать, что Шелихов был необыкновенный человек, с обширным умом, и что ж? Он верил физиогномии, приметам и в жизнь свою никогда не знал неудач. Он изумлял своею обдуманностью, проницательностью и из бедного рыльского мещанина под конец жизни, весьма недолгой, нажил миллионы. Самое предприятие его: плыть в неизвестную тогда Америку на ветхом суденышке, без снарядов, без припасов и по звездам правя путь, доказывает его решительность на надежду на свое счастье, и я вывожу, что…

– Из этого я вывожу, – сказал поспешно Терновский, – что у людей необыкновенных душевная и телесная сила более нашей и они одарены тем, чего мы не имеем и, следова-

тельно, постигнуть не можем.

– Хорошо, – отвечал Шумилов, – но пусть будут у них силы, нам не известные. Они сами в отношении к природе под одинаковыми законами, как и все мы.

– Нет! тайная сила их в сильнейших отношениях к природе. И вот что называли прежде духами, привидениями: это наши тайные отношения, не понятные другим. Прежде все олицетворяли. Сократ свою тайную силу называл гением и откровенно признавался, что у него есть тайный гений, который руководствует и часто противоречит ему самому.

– Ты мечтатель! – сказал Шумилов, – и должен вспомнить, что воображение может действовать и обманывать нас удивительным образом. Человек в горячке чего не видит, чего не наскажет вам, но все слова – его мечты, обольщение чувств, в которых льется огонь горячки. Далее: должно поверять известия. Люди так любят все чудесное, так любят прибавлять, что на их рассказы полагаться невозможно. Прибавь обманы, ловкость, хитрости. Я даже за Сократова гения не поручусь. Может быть, это была его хитрость. Посмотри на чревовещателя, фокусника, обморачивателя: если бы мы не знали, что они все делают естественным образом, как не почесть их волшебниками? В глазах других, человек снимает с себя голову, бреет ее и опять надевает по-прежнему; вода рвется в комнату, затопляет пол, все пугаются, кричат, и все это оптическая, химическая шалость.

– Но отчего же эта всеобщая уверенность, что в природе

есть много тайного, непонятного?

– Разумеется, что есть, да это тайное, непонятное не то, что ты думаешь. Иначе надобно верить, что лешие ходят по полям и заводят людей в болоты, русалки хохочут в реках, а ведьмы ездят на помелах и спускаются в трубы.

– Это вздор!

– Почему вздор? Этому так же верят миллионы людей, как ты веришь своему тайному чувству и сношениям с природою. Историю о мертвеце, который увез девушку, свою невесту, рассказывают в Англии, в России, в Польше; шабаши ведьм в Брокене и в Киеве – одинаковое поверье в России и в немецкой земле.

– А что ни говорите, но я люблю рассказы о ведьмах, мертвецах, колдунах и привидениях и всегда с радостью слушаю страшные повести, – сказал хозяин.

– Я сам люблю их слушать и даже рассказывать, но не верю им нисколько, – сказал, улыбаясь, Шумилов.

Видно было, что оба они попали на своих коньков: одному хотелось слушать, а другому рассказывать.

– Да не знаешь ли ты какой-нибудь пострашнее? – сказал хозяин, повертываясь от удовольствия.

– Как не знать! Я изъездил матушку Русь, не из семи печей хлеб едал, и коли хотите, попотчеваю вас русскими былями, которые так же страшны, как немецкие. Слушайте.

– Начни же, как начинают русские сказки: «В некотором царстве, в некотором государстве, за три-девять земель, в

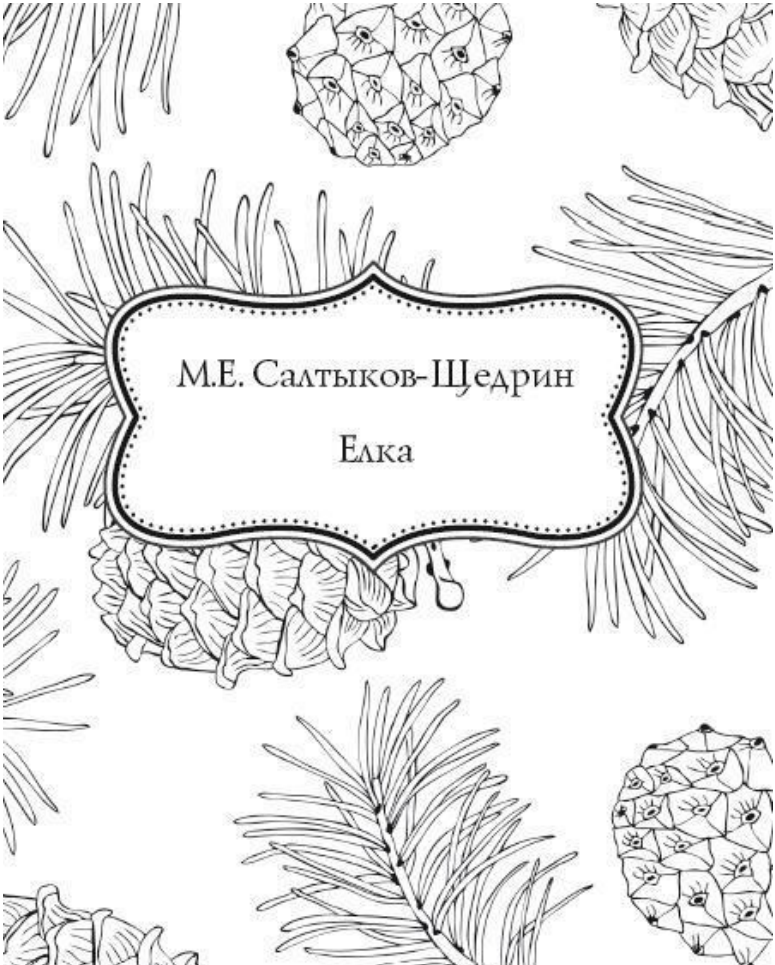
тридесятом царстве, на ровном месте, как на скатерти…»

– Да ведь я расскажу вам быль, – отвечал Шумилов.

– А Терновский изъяснит нам естественные ее действия, – прибавил хозяин, весело взглянув на соседа.

Все замолчали, и Шумилов начал.

М.Е. Салтыков-Щедрин



Елка
(Из цикла «Губернские очерки»)

На дворе очень холодно; мороз крепко сковал и угладил дорогу и теперь что есть мочи стучится в двери и окна мирных обитателей Крутогорска. Наступил уж вечер, и на улицах стало пустынно и тихо. Полный месяц глядит с заоблачных высот, глядит добродушно и весело, и светит так ясно, что на улицах словно день стоит. Бежит вдали маленькая лошадка, бойко неся за собою санки с сидящим в них губернским аристократом, поспешающим на званый вечер, и далеко разносится гул от ее копыт. В окнах большей части домов зажигаются огни, которые сначала как-то тускло горят, а потом мало-помалу разрастаются в великолепные иллюминации. Я иду по улице и, всматриваясь в окна, вижу целые сно-

пы света, около которых снуют взад и вперед милые головки детей… «Ба! да ведь сегодня сочельник!» – восклицаю я мысленно.

Просвещение проникает все более и более на восток, благодаря усердию господ чиновников, которые препоясали себя на брань с варварством и невежеством. Не знаю, имеется ли елка в Туруханске, но в Крутогорске она во всеобщем уважении – это факт для меня несомненный. По крайней мере, чиновники, которые в Крутогорске плодятся непомерно, считают непременною обязанностью купить на базаре елку и, украсив ее незатейливыми сюрпризами домашнего приготовления, презентовать многочисленным Ванечкам, Машенькам, а иногда и просто Ванькам и Машкам.

Иду я по улице и поневоле заглядываю в окна. Там целые выводки милых птенцов, думаю я, там любящая подруга жизни, там чадолюбивый отец, там так тепло и уютно… а я! Я один как перст в целом мире; нет у меня ни жены, ни детей, нет ни кола ни двора, некому ни приютить, ни приголубить меня, некому сказать мне «папасецка», некому назвать меня «брюханчиком»; в квартире моей холодно и неприветно. Гриша вечно сапоги чистит или папиросы набивает… Господи, как скучно!

И я как-то инстинктивно останавливаюсь перед каменными хоромами одного крутогорского негоцианта, выписывающего себе «камзолы» от Руча. И тут тоже елка, отличающаяся от чиновничьих только тем, что богаче изукрашена и что

по поводу ее присутствует в доме многочисленное стечение как большого, так и малого люда. В пространной зале горит это милое дерево, которое так сладко заставляет биться маленькие сердца. Я застаю еще ту минуту, когда дети чинно расхаживают по зале, только издалека посматривая на золотые яблоки и орехи, висящие в изобилии на всех ветвях, и нетерпеливо выжидая знака, по которому елка должна быть отдана им на разграбление. В боковой комнате присутствуют взрослые мужчины; несмотря на то что на соборной колокольне только что пробило шесть часов, круглый стол, стоящий перед диваном, ломится под тяжестью закусок и фиалов с водкой и тенерифом. В Крутогорске это называется «не терять золотых мгновений», и господа негоцианты действительно не теряют их, потому что я вижу их беспрерывно подступающих к круглому столу и, разумеется, не за тем, чтоб проводить время праздно. В зале владычествует хозяйка; в гостиной – хозяин. Я вижу его с улицы, подходящего даже к знакомому мне сидельцу, который скромно стоит у окна, заложивши руки назад и не осмеливаясь присесть при «хозяевах». Хозяин, простирая длань по направлению к закуске, скачала словесно уговаривает его вкусить от плода хлебного, но сиделец, как видно, оказывает сопротивление, потому что негоциант берет его за руку и силой подводит к столу.

Но покуда я занимаюсь наблюдениями над взрослою компанией, рядом со мной незаметно становится другой наблю-

датель, в лице маленького и шустрого мальчугана, который подскакивает с ноги на ногу в своем дубленом полушубке.

– Чай, скоро и рушить начнут! – беззастенчиво обращается он ко мне.

И снова начинает подплясывать на одном месте, изо всех своих детских сил похлопывая ручонками, закоченевшими на морозе.

– Вона, вона! ишь как Оську-то задрали! – продолжает он как будто про себя.

Я смотрю внимательнее в окно и вижу, что действительно какие-то два мальчика подрались, и один из них, как должно полагать по его оскорбленному лицу, испускает пронзительнейшие стоны.

– Ты знаешь этого мальчика? – спрашиваю я моего маленького товарища.

– Это Оська рядский, – отвечает он мне, – ишь раззевался, смерд этакой! Я бы те не так еще угостил!

– А тот мальчик, который прибил Оську?

– Это сын ихнего хозяина, он завсегда его так бьет, – отвечал он, всхлипывая от смеха, – намеднись песком так глаза засорил, что насилу отмыли… Эка нюня несообразная! – прибавил он с каким-то презрением, видя, что Оська не унимается.

Около обиженного мальчика хлопотала какая-то женщина, в головке и одетая попроще других дам. По всем вероятиям, это была мать Оськи, потому что она не столько ублажала

его, сколько старалась прекратить его всхлипыванья новыми толчками. Очевидно, она хотела этим угодить хозяевам, которые отнюдь не желали, чтоб Оська обижался невинными проказами их остроумных деточек. Обидчик между тем, пользуясь безнаказанностью, прохаживался по зале, гордо посматривая на всех.

– Вот кабы этакая-то елка… – задумчиво произнес мой собеседник.

Вероятно, он хотел сказать «у нас», но остановился, не докончив фразы, как это часто бывает с детьми, когда они о чем-нибудь серьезно задумаются.

– Вона! вона! рушат! ломают! – вскричал он вдруг таким неестественным голосом, что я вздрогнул. – Ах ты батюшки! смотри-ка, Оська-то, Оська-то!

В окнах действительно сделалось как будто тусклее; елка уже упала, и десятки детей взлезали друг на друга, чтобы достать себе хоть что-нибудь из тех великолепных вещей, которые так долго манили собой их встревоженные воображеньица. Оська тоже полез вслед за другими, забыв внезапно все причиненные в тот вечер обиды, но ему не суждено было участвовать в общем разделе, потому что едва завидел его хозяйский сын, как мгновенно поверг несчастного наземь данною с размаха оплеухой.

Началась прежняя сцена увещеванья и колотушек, и мне сделалось невыносимо тяжко.

– Я бы еще не так тебе рожу-то насалил! – произнес мой

товарищ с звонким хохотом, радуясь претерпенному Оськой поражению.

– Отчего ты не любишь Оську? – спросил я.

– А пошто его любить-то! вишь, как он нюни распустил… козявка этакая!

– А если б тебя так прибили?

– Ну, это, видно, после дождичка в четверг будет! я сам сдачи не займую. А вот, ей-богу, я здесь останусь… хошь из-за угла эту плаксу шарахну.

Однако он не остался и, простояв еще несколько минут, с глубоким и сосредоточенным вздохом стал отходить от окна. Я тоже пошел с ним рядом.

– Да ты чей? – спросил я.

– Кузнеца Потапыча сын.

Я знаю Потапыча, потому что он кует и часто даже заковывает моих лошадей. Потапыч старик очень суровый, но весьма бедный и живущий изо дня в день скудными заработками своих сильных рук. Избенка его стоит на самом краю города и вмещает в себе многочисленную семью, которой он единственная поддержка, потому что прочие члены мал мала меньше.

– А ведь тебе далеконько идти, – говорю я.

– Ничего-таки, будет! только вот тятька беспременно заругает.

– За что?

– А я еще утрось из дому убег, будто в ряды, да вот и не

бывал с тех самых пор… то есть с утра с раннего, – прибавил он, и вдруг, к величайшему моему изумлению, пискливым дискантом запел: – «На заре ты ее не буди…»

– Кто тебя научил этой песне?

– А что, песня важнецкая! наш учитель приходский только и дела, что мурлычет ее.

– Неужто ты с самого утра по городу шатаешься?

– А то нет? сказано: с утра раннего… неужто ж пропустить экой праздник!

– А дома у вас разве нет елки?

– Какая елка! У нас и хлеба поди нет… чем еще разговеемся завтра!

Имея душу чувствительную, я вдруг проникаюсь состраданием к бедному мальчику, которому, может быть, завтра разговеться нечем. Если я чему-нибудь в мире завидовал, то это именно положению герцога Герольштейна, который, не щадя, можно сказать, своей изнеженной особы, заходил в tapis francs[3] и запанибрата разговаривал с шуринерами. Но Крутогорск не представляет никакого поприща для моей филантропической деятельности, и я тщетно ищу в нем Fleur-de-Marie, потому что проходящие мимо меня мещанки видом своим более напоминают тех полногрудых нимф, о которых говорит Гоголь, описывая общую залу провинциальной гостиницы. Мысленный взор мой внезапно устремляется на бегущего рядом со мною мальчугана, и я начинаю ви-

---

[3] Притоны *(франц)*

деть в нем достаточную жертву для своих благотворительных затей.

– Хочешь ко мне пойти? – спрашиваю я мальчика. Он вопросительно смотрит мне в глаза.

– Я тебе пряников дам, – продолжаю я.

– Мне что пряники! – говорит он, – я, пожалуй, и вино пью.

Такая откровенность и столь раннее развитие несколько смущают меня; но я дал себе слово провести этот вечер не одиноко и настойчиво преследую свою цель.

– Что ж, я и вина дам, – говорю я.

Мальчуган с минуту колеблется, но потом беспрекословно следует за мной.

Нас встречает Гриша, которому тоже, вероятно, скучно сидеть одному, потому что он злобно смотрит то на меня, то на мальчишку.

– Это еще кого привели? – сердито ворчит он.

Надо сказать, что я несколько трушу Гриши, во-первых, потому, что я человек чрезвычайно мягкий, а во-вторых, потому, что сам Гриша такой бесподобный и бескорыстный господин, что нельзя относиться к нему иначе, как с полным уважением. Уже дорогой я размышлял о том, как отзовется о моем поступке Гриша, и покушался даже бежать от моего спутника, но не сделал этого единственно по слабости моего характера.

– Есть у нас пряники, Гриша? – спрашиваю я.

– Какие у нас пряники! разве к нам мужики ходят? К нам, сударь, большие господа ездят! – говорит он мне в виде поучения, как будто хочет дать мне почувствовать: «Эх ты, простота! не знаешь сам, кто у тебя бывает!»

– Ну, нет ли хоть яблок, винограду? – говорю я, несколько смущенный.

– Этому-то слюняю я винограду дам? – восклицает Гриша, вытаращив на меня глаза, и, перевернувшись всем корпусом, быстро удаляется в переднюю, причем сильно хлопает дверью.

Мальчуган смотрит на меня и тихонько посмеивается. Я нахожусь в замешательстве, но внутренно негодую на Гришу, который совсем уж в опеку меня взял. Я хочу идти в его комнату и строгостью достичь того, чего не мог достичь лаской, но в это время он сам входит в гостиную с тарелкой в руках и с самым дерзким движением – не кладет, а как-то неприлично сует эту тарелку на стол. На ней оказывается большой кусок черного хлеба, посыпанный густым слоем соли.

– Будет с него, что и хлеба полопает, не велик барин! – говорит Гриша, – а то еще винограду выдумали!

– Однако принеси же, братец, яблок и винограду, если я этого требую, – говорю я твердым голосом и не роняя своего достоинства.

– Да и вина уж кстати подай, холоп! – прибавляет от себя мальчуган, который взлез между тем на диван и уселся на нем с ногами.

– Ах ты мозглец ты этакой! – кричит Гриша, взволнованный самоуверенным видом маленького наглеца, – ишь ты, скажите на милость! на диван с ногами въехал! брысь, слякоть!

Мне самому и смешно и досадно, но я решаюсь выдержать характер.

– Я тебе сказал, принеси винограду и яблок, – говорю я, возвышая голос.

– Ну, что же! – отвечает Гриша, – пожалуй! заставляйте меня всякой козявке служить! известно, вы господа, а мы холопы!

Я вижу, что самолюбие моего дядьки страдает, и спешу успокоить его.

– Дай ты с нами посидишь, Гриша; знаешь, завтра праздник какой!

Чело его при слове «праздник» действительно разглаживается, и я вижу, что прихоть моя будет исполнена.

Через пять минут являются на столе яблоки и виноград и бутылки тенерифа, того самого, от которого и жжет и першит в горле. Мальчуган, минуя сластей, наливает рюмку вина и залпом выпивает ее.

– Ишь шельмец какой! – замечает Гриша.

Я всматриваюсь между тем в мальчика. Лицо его очень подвижно и дышит сметкою и дерзостью; карие и, должно быть, очень зоркие глаза так быстры, что с первого взгляда кажутся разбегающимися во все стороны; он очень худощав,

и все черты лица его весьма мелки и остры; самая кожа, тонкая и нежная, ясно говорит о чрезвычайной впечатлительности и восприимчивости мальчугана. Я вижу, что он начинает нравиться даже Грише, потому что тот, поглядывая на него, изредка проговаривается: «Ишь постреленок!», что доказывает, что он находится в хорошем расположении духа.

– Что ж ты не берешь яблок? – спрашиваю я.

– На что мне?.. Разве сестрам взять?

– А много у тебя сестер?

– А кто их знает? я не считал…

– Ишь пострел! – отзывается Гриша.

– Как же они теперь праздник встречают?

– Спят, чай… Намеднись тятька приговаривался, что свинью убить надо…

– Ну, а велики ли у тебя сестры?

– Одна есть большая, а другие – мелюзга.

– И мать у вас есть?

– Как же! этого добра где не водится! только, надо быть, тятенька ей скоро конец сделает… больно уж он ноне зашибаться зачал – это, пожалуй, и не ладно уж будет!

– За что ж он ее бьет?

– За что бьет! пришла – не так, и ушла – не так! вот и бьет!

Мне становится грустно; я думал угостить себя чем-нибудь патриархальным, и вдруг встретил такую раннюю испорченность. Мальчишка почти пьян, и Гриша начинает смотреть на него как на отличную для себя потеху.

– Вели закладывать поскорее лошадей, – говорю я Грише.

– А что-с! видно, наскучили мы вашему благородию? – спрашивает мальчуган.

– Скажи, пожалуйста, откуда ты выучился называть меня «благородием»? откуда перенял все эти романсы?

– Нешто мы образованного опчества не знаем?

– Скажите на милость! тоже об образовании заговорил! – удивляется Гриша.

Через четверть часа докладывают, что лошади готовы, и я остаюсь один. Мне ужасно совестно перед самим собою, что я так дурно встретил великий праздник. Зато Гриша очень весел и беспрестанно смеется, приговаривая: «Ах ты постреленок этакой!» Я уверен, что в сердце его не осталось ни тени претензий на меня и что, напротив, он очень мне благодарен.

Я ложусь спать, но и во сне меня преследует мальчуган, и вместе с тем какой-то тайный голос говорит мне: «Слабоумный и праздный человек! ты праздность и вялость своего сердца принял за любовь к человеку, и с этими данными хочешь найти добро окрест себя! Пойми же наконец, что любовь милосердна и снисходительна, что она все прощает, все врачует, все очищает! Проникнись этою деятельною, разумною любовью, постигни, что в самом искаженном человеческом образе просвечивает подобие божие – и тогда, только тогда получишь ты право проникнуть в сокровенные глубины его души!»

Душа моя внезапно освежается; я чувствую, что дыха-

нье ровно и легко вылетает из груди моей… «Господи! дай мне силы не быть праздным, не быть ленивым, не быть суетным!» – говорю я мысленно и просыпаюсь в то самое время, когда веселый день напоминает мне, что наступил «великий» праздник и что надобно скорее спешить к обедне.

М.Е. Салтыков-Щедрин

Святочный рассказ
(Из путевых заметок чиновника)

I

В 18**году, и именно в ночь на Рождество Христово, пришлось мне ехать по большому коммерческому тракту, ведущему от города Срывного к Усть-Деминской пристани. «Завтра или, лучше сказать, даже сегодня, большой праздник, – думал я, – нет того человека в целом православном мире, который бы на этот день не успокоился и не предался всем отрадам семейного очага; нет той убогой хижины, которая не осветилась бы приветным лучом радости; нет того нищего, бездомного и увечного, который не испытал бы на себе благотворное действо великого праздника! Я один горьким

насильством судьбы вынужден ехать в эту зимнюю, морозную ночь, между тем как все мысли так естественно и так неудержимо стремятся к теплому углу, ехать бог весть куда и бог весть зачем, перестать жить самому и мешать жить другим?» Мысли эти неотступно осаждали мою голову и делали положение мое, и без того неприятное, почти невыносимым. Все воспоминания детства с их безмятежными, озаренными мягким светом картинами, все лучшие часы и даже мгновения моего прошлого, как нарочно, восставали передо мной самыми симпатичными, ласкающими своими сторонами. «Как было тогда хорошо! – отзывался тихий голос где-то далеко, в самой глубине моей души, – и как, напротив того, все теперь неприютно и безучастно вокруг!»

Кибитка между тем быстро катилась, однообразно и мерно постукивая передком об уступы, выбитые копытами возовых лошадей. Дорога узенькою снеговой лентой бежала все вдаль и вдаль; колокольцы, привязанные к низенькой дуге коренника, будили оцепеневшую окрестность то ясным и отчетливым звоном, когда лошади бежали рысью, то каким-то беспорядочным гулом, когда они пускались вскачь; по временам этот звон и гул смешивался с визгом полозьев, когда они врезывались в полосу рыхлого снега, нанесенную внезапным вихрем, по временам впереди кибитки поднималось и несколько мгновений стояло недвижно в воздухе облако морозной пыли, застилая собой всю окрестность… Горы, речки, овраги – все как будто замерло, все сделалось без-

различным под пушистою пеленою снега.

«Зачем я еду? – беспрестанно повторял я сам себе, пожимаясь от проникавшего меня холода, – затем ли, чтоб бесполезно и произвольно впадать в жизнь и спокойствие себе подобных? затем ли, чтоб удовлетворить известной потребности времени или общества? затем ли, наконец, чтоб преследовать свои личные цели?»

И разные странные, противоречивые мысли одна за другой отвечали мне на этот вопрос. То думалось, что вот приеду я в указанную мне местность, приючусь, с горем пополам, в курной избе, буду по целым дням шататься, плутать в непроходимых лесах и искать… «Чего ж искать, однако ж?» – мелькнула вдруг в голову мысль, но, не останавливаясь на этом вопросе, продолжала прерванную работу. И вот я опять среди снегов, среди сувоев, среди лесной чащи; я хлопочу, я выбиваюсь из сил… и, наконец, мое усердие, то усердие, которое все превозмогает, увенчивается полным успехом, и я получаю возможность насладиться плодами моего трудолюбия… в виде трех-четырех баб, полуглухих, полуслепых, полубезногих, из которых младшей не менее семидесяти лет!.. «Господи! а ну как да они прослышали как-нибудь? – шепчет мне тот же враждебный голос, который, очевидно, считает обязанностью все мои мечты отравлять сомнениями, – что, если Еванфия… Е-ван-фи-я!.. куда-нибудь скрылась?» Но с другой стороны… зачем мне Еванфия? зачем мне все эти бабы? и кому они нужны, кому от того убы-

ток, что они ушли куда-то в глушь, сложить там свои старые кости? А все-таки хорошо бы, кабы Еванфию на месте застать!.. Привели бы ее ко мне: «Ага, голубушка, тебя-то мне и нужно!» – сказал бы я. «Позвольте, ваше высокоблагородие! – шепнул бы мне в это время становой пристав (тот самый, который изловил Еванфию, покуда я сидел в курной избе и от скуки посвистывал), – позвольте-с; я дознал, что в такой-то местности еще столько-то безногих старух секретно проживает!» – «О боже! да это просто подарок!» – восклицаю я (не потому, чтоб у меня было злое сердце, а просто потому, что я уж зарвался в порыве усердия), и снова спешу, и задыхаюсь, и открываю… Господи! что я открываю!.. Что ж, однако ж, из этого, к какому результату ведут эти усилия? К тому ли, чтоб перевернуть вверх дном жизнь десятка полуистлевших старух?.. Нет, видно, в самой мыслительной моей способности имеется какой-нибудь порок, что я даже не могу найти приличного ответа на вопрос, без того, чтоб снова действием какого-то досадного волшебства не возвратиться все к тому же вопросу, из которого первоначально вышел.

Между тем повозка начала все чаще и чаще постукивать передком; полозья, по временам раскатываясь, скользили по обледенелому черепу дороги; все это составляло несомненный признак жилья, и действительно, высунувшись из кибитки, я увидел, что мы въехали в большое село.

– Вот и до места доехали! – молвил ямщик, поворачиваясь ко мне.

Заиндевевшая его борода и жалкий белый пониток, составлявший, вместе с дырявым и совершенно вытертым полушубком, единственную его защиту от лютого мороза, бросились мне в глаза.

Странное ощущение испытал я в эту минуту! Хотя и обледенелые бороды, и худые белые понитки до того примелькались мне во время моих частых скитаний по дорогам, что я почти перестал обращать на них внимание, но тут я совершенно невольным и естественным путем поставлен был в невозможность обойти их.

«Как-то придется тебе встретить Христов праздник! – подумал я и тут же, по какому-то озорному сопряжению идей, прибавил: – А я вот еду в теплой шубе, а не в понитке… ты сидишь на облучке и беспрестанно вскакиваешь, чтоб попугать кнутом переднюю лошадь, а я сижу себе развалившись и занимаюсь мечтаниями… ты должен будешь, как приедешь на станцию, прежде всего лошадей на морозе распречь, а я велю вести себя прямо в тепло, велю поставить самовар, велю напоить себя чаем, велю собрать походную кровать и засну сном невинных…»

В селе было пусто; был шестой час утра, а в это время, как известно, по большим праздникам идет уже обедня в тех селах, где нет помещиков и где массу прихожан составляет серый народ. И действительно, хотя мы почти мгновенно промчались мимо церкви, но я успел, сквозь отворенную ее дверь, рассмотреть, что она полна народом, что глубина ее

горит огнями по-праздничному и что густой пар стоит над толпою, одевая туманом и богомольцев, и ярко освещенный иконостас.

Наконец лошади остановились у просторной избы. Это была станция, но не почтовая, где, хоть с грехом пополам, путешественник может приютить свою голову без опасения быть ежеминутно встревоженным шумом и говором людей, хлопаньем дверей и незасыпающею деятельностью дня; это была простая изба, назначенная по отводу для отдыха проезжающих по казенной надобности чиновников, покуда сбирают для них свежих обывательских лошадей. Сверх моего ожидания, горница, в которую меня ввели, оказалась просторною, теплою и даже чистою; пол и вделанные по стенам лавки были накануне выскоблены и вымыты; перед образами весело теплилась лампадка; четырехугольный стол, за которым обыкновенно трапезуют крестьяне, был накрыт чистым белым перебором, а в ближайшем ко входу угле, около огромной русской печи, возилась баба-денщица, очевидно спеша окончить свою стряпню к приходу семейных от обедни. На одной из лавок, возле переднего угла, сидел слепой и ветхий дедушко, вроде тех, которыми почти фаталистически снабжается всякая сколько-нибудь многочисленная крестьянская семья, и держал в руке деревянную палку, которою задумчиво чертил по полу. Он делал это дело с необычайным терпением, как будто оно составляло последнюю задачу его жизни, и, нащупав палкою какую-нибудь неровность,

сердился и ворчал.

Приезд мой не произвел, однако ж, особенного впечатления, так как, по случаю отвода избы под станцию, хозяева ее скоро свыкаются с общим видом чиновника, которого появление составляет в кругу их факт почти ежедневный. Денщица, которая, по рассмотрении, оказалась молодухой, продолжала усердно делать свое дело, а дедушко по-прежнему водил палкой по полу и ворчал про себя. На полатях возились и потягивались ребятишки.

– Далеко отсюда становой живет? – спросил я.

– Да верст, чай, с восемь будет, – отвечала денщица, действуя в то же время ухватом, которым отправляла в печь горшок с похлебкой.

– А ты говори дело, а не «чай», – вступился мой спутник и камердинер Гриша, во всякое другое время очень добрый малый, но теперь сильно озлобившийся вследствие мороза и других дорожных неприятностей.

– А вот мужики придут – они тебе дело и скажут… Ишь, больно строг: с бабы спрашивает!

– Эх ты! баба так баба и есть, – отозвался Гриша, но с таким глубоким презрением, что я сразу сознал глубокую разницу, существующую между привилегированным полом и непривилегированным.

– Никак, кто пришел? с кем это ты, Татьяна, разговариваешь? – откликнулся дедушко.

– Становой далеко отсюда живет? – спросил я, обращаясь

к старику.

– Ась?

– Ишь ты! глухие да глупые – вот и жди от них толку! – злобно заметил Гриша.

– Барин приехал… чиновник, дедушко! – кричала между тем Татьяна, наклонясь к самому уху старика, – спрашивают, далече ли до станового будет?

– Да верст пяток поболе будет, – прошамкал старик, – выедешь ты, сударь, за околицу и поезжай все вправо… там три сосенки такие будут… древние, сударь, еще дедушко мой их помнил – во какие сосны!.. От них повертывай прямо направо, будет тебе там озеро, и поезжай ты через него все прямо, все прямо… Летом-то, сударь, здеся-ко не проедешь, а надо кругом; так в ту пору вместо пяти-то верст и пятнадцать поди будет!.. Ну, а за озером прямо и представится тебе господин становой… так-то.

– Так нельзя ли лошадей поскорей заложить? – спросил я.

– А у нас и робят-то никого нет, все в церкву ушли, – отвечала молодуха, – видно, уж тебе, барин, обождать придется!

– Дедушко! как бы лошадей заложить? – снова спросил я, наклонясь к дедушке.

– А что ж, сударь, для че не заложить! кони ноне дома, мигом заложат! Татьяна, сбегай по-мужа-то, скажи, мол, чиновник наехал!

Но покуда Татьяна сбиралась, семейные уж возвратились из церкви и гурьбой ввалились в избу. Прежде всех, как

водится, влетел никем не прошенный клуб морозного воздуха и мигом наполнил комнату белесоватым туманом; за ним вошел старший сын дедушки, мужичок лет пятидесяти с лишком, очень сановитой и бодрой наружности, одетый по-праздничному, в синюю сибирку.

– С праздником, батюшка! – сказал он, помолившись наперед образам, – Бог милости прислал!

– Ну, слава богу, слава богу! – прошамкал старик, привставая с лавки, – вот и опять мы с праздником! С вами, что ли, некрут-то?

– Здесь, дедушко, будь здоров! – молвил, выступая вперед, молодой парень.

Я вспомнил, что по случаю военных обстоятельств объявлен был в то время чрезвычайный набор, и невольно полюбопытствовал взглянуть на рекрута. Физиономия его была чрезвычайно симпатична: хотя гладко выстриженные волосы несколько портили его лицо, тем не менее общее его выражение было весьма приятно; то было одно из тех мягких, полустыдливых, полузастенчивых выражений, которые составляют почти общую принадлежность нашего народного типа. Смирно стоял он перед стариком-дедушкой в своем коротеньком рекрутском полушубке, засунув руку за пазуху и слегка понурив голову; в голубых его глазах не видно было огня строптивости или затаенного чувства ропота; напротив того, вся его любящая, беспредельно кроткая душа светилась в этом задумчивом и рассеянно блуждавшем взо-

ре, как бы свидетельствуя о его вечной и беспрекословной готовности идти всюду, куда укажет судьба.

– Ну, дай бог здоровья начальникам… отпустили тебя, Петруня… и нас сделали с праздником, – сказал старик.

Покуда старик говорил, сзади у печки послышались сначала вздохи, а потом и довольно громкие всхлипывания. Петруня как-то болезненно весь сжался, услышав их.

– Ну вот, пошла баба голосить! уйми ты ее, Иван! – обратился старик к старшему сыну, – нешто лучше бы было, кабы не отпустило сына-то… так ты бы радовалась, не чем горевать!

– Так неужто ж и пожалеть нельзя! – отозвалась из угла баба, – собирались ноне женить в мясоед парня, ан замест того вон он куда угодил… и не чаяли!

Петруня, казалось, еще более сжался при последних словах матери.

– Ничего, с богом… не на грех идет! чай, еще не сколько мученья-то принял, Петруня? – спросил дедушко.

– Мученьев, дедушко, нет; а вот унтер сказывал, что через десять ден в поход идти велено, – отвечал Петруня тихо и дрожащим голосом.

– Ну что ж, и в поход пойдешь, коли велено! Да ты слушай, голова! и я ведь молоденек бывал, тоже чуть-чуть в некруты в ту пору не угодил… уж и что хлопот-то у нас в те поры с батюшкой вышло!

– То-то «чуть-чуть»! – в сердцах ворчала мать, – вот не

сдали же, а тут как есть один сын, да и тот не в дом, а из дому вон бежит!

– А кто ж тебе не велел другого припасти! – сказал дедушко полушутливо, полудосадливо, – то-то вот, баба: замест того, чтоб потешить сыночка о празднике, а она еще пуще его в расстрой приводит! Ты пойми, глупая, что он у тебя в гостях здесь! Вот ужо вели коней в саночки запречь… погуляй покуда, Петруня, с робятками-то, погуляй, милой!

Иван, однако, не принимал никакого участия в разговоре. Он спокойно раздевался в это время и вместе с тем делал обычные распоряжения по дому. Но это равнодушие было только кажущееся, а в сущности он не менее жены печалился участью сына. Вообще, нашего крестьянина трудно чем-нибудь расшевелить, удивить или душевно растрогать. Ежеминутно имея прямое отношение лишь к самой незамысловатой и неизукрашенной действительности, ежеминутно встречая лицом к лицу свою насущную жизнь, которая часто представляет для него одну бесконечную невзгоду и во всяком случае многого никогда ему не дает, он привыкает смело смотреть в глаза этой суровой мачехе, которая по временам еще осмеливается заговаривать льстивыми голосами и называть себя родной матерью. Поэтому всякая потеря, всякая неудача, всякое безвременье составляют для крестьянина такой простой факт, перед которым нечего и задумываться, а только следует терпеливо и бодро снести. Даже смерть наиболее любимого и почитаемого лица не подавляет его и не

производит особенного переполоха в душе; мало того: я не один раз видал на своем веку умирающих крестьян, и всегда (кроме, впрочем очень молодых парней, которым труднее было расставаться с жизнью) замечал в них какое-то твердое и вместе с тем почти младенческое спокойствие, которое многие, конечно, не затруднились бы назвать геройством, если бы оно не выражалось столь просто и неизысканно. Все страдания, все душевные тревоги крестьянин привык сосредоточивать в самом себе, и если из этого правила имеются исключения, то они составляют предмет хотя добродушных, но всегда общих насмешек. Таких людей называют нюнями, бабами, стрекозами, и никогда рассудливый мужик не станет говорить с ними об деле. Правда, дрогнет иногда у крестьянина голос, если обстоятельства уж слишком круто повернут его, изменится и как будто перекосится на миг лицо, насупятся брови – и только; но жалоба, суетливость и бесплодное аханье никогда не найдут места в его груди. Повторяю: невзгода представляется для крестьянина столь обычным фактом, что он не только не обороняется от него, но даже и не готовится к принятию удара, ибо и без того всегда к нему готов. Всю чувствительность, все жалобы он, кажется, предоставил в удел бабам, которые и в крестьянском быту, как и везде, по самой природе, более склонны представлять себе жизнь в розовом цвете и потому не так легко примиряются с ее неудачами.

– Рекрут, что ли, у вас? – спросил я Ивана.

– Рекрут, сударь, сыном мне-ка приходится.

– А велика ли у вас семья?

– Семья, нечего Бога гневить, большая; четверо нас братовей, сударь, да детки в закон еще не вышли… вот Петрунька один и вышел.

– Тяжело, чай, расставаться-то?

Иван с изумлением взглянул на меня, и я, не без внутренней досады, должен был сознаться, что сделанный мною вопрос совершенно праздный и ни к чему не ведущий.

– Божья власть, сударь! – отвечал он и, обращаясь к старику, прибавил: – Обедать, что ли, сбирать, батюшка?

– Вели сбирать, Иванушко, пора! чай, и свет скоро будет!.. Да за конями-то пошли, что ли?

– Давно Васютку услал, приведут сейчас.

Петруня между тем незаметно скрылся за дверь. Несмотря на то, что изба была довольно просторная, воздух в ней, от множества собравшегося народа, был до того сперт, что непривычному трудно было дышать в нем. Кроме сыновей старого дедушки с их женами, тут находилось еще целое поколение подростков и малолетков, которые немилосердно возились и болтали, походя пичкая себя хлебом и сдобными лепешками.

– Кто-то вот нас кормить на старости лет будет? – промолвила между тем хозяйка Ивана, по-прежнему стоя в углу и пригорюнившись.

– Чай, братовья тоже есть, семья не маленькая! – отвечал

дедушко, с трудом скрывая досаду.

– Да, дожидайся, пока они накормят… чай, по тех пор их и видели, поколь ты жив.

– Не дело, Марья, говоришь! – заметил второй брат Ивана.

– Ее не переслушаешь! – отозвался третий брат.

Окончания разговора я не дослушал, потому что не мог долее выносить этого спертого, насыщенного парами разных похлебок воздуха, и вышел в сенцы. Там было совершенно темно. Глухо доносились до меня и голоса ямщиков, суетившихся около повозки, и дребезжащее позвякивание колокольцев, накрепко привязанных к дуге, и еще какие-то смутные звуки, которые непременно услышишь на каждом крестьянском дворе, где хозяин живет мало-мальски запасливо.

– Как же быть-то? – сказал неподалеку от меня милый и чрезвычайно мягкий женский голос.

– Как быть! – повторил, по-видимому, совершенно бессознательно другой голос, который я скоро признал за голос Петруни.

– Скоро, чай, и сряжаться станете? – снова начал женский голос после непродолжительного молчания.

Петруня не промолвил ни слова и только вздохнул.

– Портяночки-то у тебя теплые есть ли? – вновь заговорил женский голос.

– Есть.

– Ах, не близкая, чай, дорога!

Снова наступило молчание, в продолжение которого я

слышал только учащенные вздохи разговаривающих.

– Уж и как тяжко-то мне, Петруня, кабы ты только знал! – сказал женский голос.

– Чего тяжко! чай, замуж выдешь! – молвил Петруня дрожащим голосом.

– А что станешь делать… и выду!

– То-то… чай, за старого… за вдовца детного…

– За старого-то лучше бы… по крайности, хоть любить бы не стала, Петруня!

– А молодого, небось, полюбила бы!.. То-то вот вы: потоль у вас и мил, поколь в глазах! – сказал Петруня, которого загодя мучила ревность.

– Ой, уж не говори ты лучше!., умерла бы я, не чем с тобой расставаться – вот сколь мне тебя жалко!

– А меня небось в сражениях убьют, покуда ты здесь замуж выходить будешь!., детей, чай, народишь!.. Вот унтер намеднись сказывал, что в сраженье как есть ни один человек цел не будет – всех побьют!

Вместо ответа мне послышались тихие, словно детские, всхлипывания.

– Ну что ж, и пущай бьют! – продолжал Петруня, находя какое-то горькое удовольствие в страданиях своей собеседницы.

Всхлипывания послышались горче прежнего.

– Ах, пропадай моя голова… хочешь, сбегу, Мавруша? – внезапно спросил Петруня.

– Что ты, что ты, Петруня! что ж это будет! – отвечала Мавруша голосом, в котором слышался испуг.

– Убегу, да и все тут, – продолжал Петруня, – уйду в леса к старцам… ищи, лови тогда!

– Стариков-то твоих, чай, в ту пору так и засудят! – робко заметила Мавруша.

Петруня молчал.

– В разоренье поди приведут? – продолжала Мавруша, как бы рассуждая сама с собой.

То же молчание.

– Нет, ты уж лучше не бегай, Петруня! как-нибудь, бог даст, и свидимся!

– То-то «свидимся»! замуж, чай, хочется, а не «свидимся»! Ты бы напрямки так и говорила… а то «свидимся». Так бежать, что ли?

– Куда ж бежать? коли для меня ты хочешь бежать, так я за тобой ведь бежать не могу!

Петруня заплакал.

– Петруня! желанный ты мой! – прошептала Мавруша.

Петруня заплакал пуще прежнего.

– Ох, да хоть бы не плакал ты! – сказала Мавруша каким-то утомленным, замученным голосом.

– Вот каково дело, что и пособить нечем! – говорил Петруня, обрываясь почти на каждом слове, – куда я теперь денусь? Ох, да подумай же ты, Мавруша, как бы нам хорошо-то было!., жили бы мы теперь с тобой… и мясоед вот на дво-

ре… И все-то ведь прахом пошло… точно ничего и не было! Намеднись вот унтер сказывал, верст тысячи за две поведут… так когда же тут свидеться!

– Петруня! где же ты запропал! – раздался сзади меня голос женщины.

– Здесь; обедать, что ли? – откликнулся Петруня.

– Обедать дедушко зовет.

– Сейчас. Прощай, Мавруша! ноне к ночи надо опять в город ехать… прощай! может, уж и не свидимся!

– Разве на село-то не пойдете с партией? хошь бы посмотрела я на тебя!

– Нет, по почтовой пойдем; вот разве что: ужо дедушко коней посулил… погуляем, что ли?

– Не пустят, Петруня, – тихо отвечала Мавруша, – а уж как бы не погулять! Старики-то ноне у меня больно зорки стали: поди и теперь, чай, ищут меня!

– Ну, так ин бог с тобой, прощай же, Мавруша.

Голоса стихли, но Петруня несколько времени еще не приходил в избу; минуты с две слышались мне и глубокие вздохи, и неясный шепот, прерываемый рыданиями, и стало мне самому так обидно, тяжко и больно, как будто внезапно лишили меня всего, что было дорого моему сердцу. «Вот, – думал я, – простая, кажется, с виду штука, а поди-ка переживи ее!» И должно сознаться, что до тех пор никогда эта мысль не заходила мне в голову.

– Иди, что ли! – снова раздался сзади меня голос денщи-

цы.

– Иду, иду! – отвечал Петруня. – Прощай, Мавруша! – продолжал он каким-то гортанным, задыхающимся голосом, – прощай же, касатка!

И вслед за тем он бегом взбежал на лестницу и направился быстрыми шагами в избу.

Когда я через четверть часа снова вошел в избу, вся семья обедала, но общий ее вид был нерадошен. Какое-то принуждение носилось над ней, и хотя дедушко старался завести обычную беседу, но усилия его не имели успеха. Иван молчал и смотрел угрюмо; Марья потихоньку всхлипывала; Петруня сидел с заплаканными глазами и ничего не ел; прочие члены семьи, хотя и менее заинтересованные в этом деле, невольно следовали, однако ж, за общим настроением чувств; даже малолетки, обыкновенно столь неугомонные, как-то притихли и сжались. Одним словом, тут только и было праздничного, что кушанья, которых было перемен шесть и которые однообразно следовали одно за другим, ни в ком не возбуждая веселья. Я тоже невольно задумался, глядя на эту семью… и о чем задумался?

«Что-то делается, – думал я, – в том далеком-далеком городе, который, как червь неусыпающий, никогда не знает ни усталости, ни покоя? Радуются ли, нет ли там божьему празднику? и кто радуется? и как радуется? Не подпал ли там праздник под общее тлетворное владычество простой обрядности, без всякого внутреннего смысла? не сделался

ли он там днем, к которому надо особенным образом искривить рот в виде улыбки, к которому надо накупить много конфект, много нарядов, в который, по условному обычаю, следует призвать в гостиную детей, с тем чтоб вдоволь натешиться их благоприличными манерами, и затем вновь отослать их в детскую, считая все обязанности в отношении к ним уже исполненными до следующего праздника? Сохранил ли там праздник свое христианское, братское значение, в силу которого сама собой обновляется душа человека, сами собой отверзаются его объятия, само собой раскрывается его сердце? Ведь праздник есть такая же потребность человеческой жизни, как радость – потребность человеческого сердца: это потребность успокоения и отдыха, потребность хоть на время сбросить с себя тяжесть жизненных уз, с тем чтоб безусловно предаться одному ликованию!»

И передо мной незаметно раскрылся знакомый ряд картин, свидетелей моего прошедшего, картин, в которых много было движения, много суеты, много даже каких-то неясных очертаний и смутных намеков на жизнь, радость и наслаждение… Но была ли это радость действительная, было ли это то чистое наслаждение, которое не оставляет после себя в сердце никакого осадка горечи? Вот он, этот громадный город, в котором воздух кажется спертым от множества людских дыханий; вот он, город скорбей и никогда не удовлетворяемых желаний; город желчных честолюбий и ревнивых, завистливых надежд; город гнусно искривленных улыбок и заражаю-

щих воздух признательностей! Как волшебен он теперь при свете своих миллионов огней, какая страшная струя смерти совершает свой бесконечный, разъедающий оборот среди этого вечного тумана, среди миазмов, беспощадно врывающихся со всех сторон! Сколько мучений, сколько никем не знаемых и никем не разделенных надежд, сколько горьких разочарований, и вновь надежд, и вновь разочарований!

«Господи! надо же было над Петруней такой беде стрястись! Кабы не это, сидел бы он здесь беззаботный и радостный; весело беседовало бы теперь за трапезой честное потомство слепенького дедушки… и надо же было слепому случаю пройти беспощадным своим плугом по этому прекрасному зеленому лугу, чтоб взбуровить его ровную поверхность и исполосать ее черными, безобразными бороздами!»

Размышления эти были прерваны докладом о том, что лошади готовы. Горько мне было садиться одному в сани, горько было расставаться с людьми, особливо в этот праздник, когда, и вследствие воспоминаний прошедшего, и вследствие всего склада жизни, необходимость общества людей как-то особенно живо чувствуется. Казалось бы, что общего между мной и этою случайно встреченною мной семьей, какое тайное звено может соединить нас друг с другом! и между тем я несомненно сознавал присутствие этой связи, я несомненно ощущал, что в сердце моем таится невидимая, но горячая струя, которая, без ведома для меня самого, при-

общает меня к первоначальным и вечно бьющим источникам народной жизни.

II

На дворе было еще темно, хотя свет, очевидно, готовился уже вступить в права свои; мороз сделался как будто еще лютее прежнего; крепкий верховой ветер сильно буровил здесь и там снежную равнину и, подняв целые столбы снега, направлял свой путь далее, с тем чтоб опять через минуту вернуться и, подняв новые снежные столбы, опять нестись куда-то далеко-далеко. Холод и ветер тем более были для меня ощутительны, что я ехал в открытых санях, потому что должен был, после необходимых объяснений с становым приставом, опять вернуться на станцию, где, вследствие всех этих соображений, я и заблагорассудил оставить свою повозку.

Вот и те три сосенки, о которых толковал мне старик; сквозь мутное облако частого, тонкого снега я видел только очертания их, но, вероятно, душа моя была слишком особенным образом настроена, что за плавным покачиванием широких их вершин мне именно слышалось, будто они жалуются и говорят о том, как надоела им эта долгая, почти бесконечная жизнь, как устали они от этих отвсюду вторгающихся ветров, которые беспрепятственно и безнаказанно оскорбляют их, то обламывая самые крепкие их побеги, то разбрасывая мохнатые их ветви в какой-то тоскливой беспо-

рядочности. Вот и озеро, которое подало мне о себе весть особенностью звука, издаваемого копытами лошадей, и ветками, которые часто натыканы здесь по обеим сторонам дороги… Я глянул в даль, и, не знаю почему, там, на самом конце ее, представился мне становой пристав, в виде страшного, лохматого чудовища, с семью головами, с длинными железными когтями и долгим огненным языком. И так ясно и отчетливо мелькало передо мной это странное и, к счастию, совершенно невероятное видение, что мне стало жутко, и я поспешил плотнее закутаться в шубу, чтоб не видать его кривляний.

Через полчаса я въезжал в огромное торговое село, в котором было много домов совершенно городской постройки. В одном из них помещалась квартира станового пристава, и я еще издали мог налюбоваться на множество огней, которые, очевидно, были зажжены на детской елке. Огни горели весело и, проходя сквозь обледенелые стекла окон, принимали самые изменчивые и разнообразные цвета.

Становой, или, как его обыкновенно зовут крестьяне, «барин», был дома. Звали его Ермолаем Петровичем, по фамилии Бондыревым; по наружности же был он мужчина дюжий, и вследствие того постоянно отдувался и дышал тяжело, словно запаленная лошадь. Лицо его, пухлое и отеклое, было покрыто слоем жирного вещества, который придавал его коже лоск почти зеркальный; огромная его лысина, по общему отзыву сослуживцев, имела свойство испускать из

себя облако тумана в следующих двух случаях: во время губернаторской ревизии, когда, как известно, сердечные движения в уездном чиновнике делаются особенно сильны и остры, и по выпитии двадцать пятой рюмки очищенной. Голос у него был сильный, густой бас, сопровождаемый легкою хрипотой, и выходил из гортани как бы колом. К величайшему моему удивлению, это несоразмерное преобладание материи нимало не тяготило его; вообще он был на службе легок, как пух, и когда исполнение служебных обязанностей требовало с его стороны уже слишком усиленной деятельности, то вся его досада проявлялась в том только, что он пыхтел и ругался пуще обыкновенного. Впрочем, он был, в сущности, малый добродушный, и когда принимал благодарность, то всегда говорил спасибо, и этим весьма льстил самолюбию доброхотных дателей.

– Милости просим побеседовать в комнату, ваше высокоблагородие! – сказал он, встретив меня в прихожей, – у меня нынче праздник, детки вот развозились…

– А мне надо бы скорее ехать, – отвечал я не совсем впопад, все еще находясь под влиянием лохматого чудовища.

– Что же так-с? часом раньше, часом позже – дело не волк, в лес не уйдет-с. Заодно уж у нас покушаете, а после обеда и в путь-с. Мне ведь тоже с вами надо будет отправляться, так если сейчас же и ехать, не будет ли уж очень это обидно? Ведь праздник-с…

Я остался и отчасти был даже доволен этой задержкой,

потому что очень устал с дороги. В комнате, в которую ввел меня Бондырев, было все его семейство и сверх того еще несколько посторонних лиц, с которыми он, однако ж, не заблагорассудил меня познакомить. Он только указал мне рукой на детей, сказав: «А вот и потроха мои!» – и затем насильственно усадил меня на диван. Из семейных были тут: жена Ермолая Петровича, бабочка лет двадцати пяти, которая была бы недурна собой, если бы не так усердно мазалась свинцовыми белилами и не носила столь туго накрахмаленных юбок; мать ее, худенькая, повязанная платком старуха с фиолетовым носом, которую Бондырев, неизвестно почему, величал «вашим превосходительством», и четверо детей, которые основательностью своего телосложения напоминали Ермолая Петровича и чуть ли даже, подобно ему, не похрипывали.

– Не угодно ли чаю с дороги? – спросила меня жена.

– Что чай! вот мы его высокоблагородие водочкой попросим, – отозвался Бондырев, – я, ваше высокоблагородие, этой китайской травы в рот не беру – оттого и здоров-с.

– Вы из «губернии» изволите ехать? – обратилась ко мне старуха теща.

– Да, я недавно оттуда.

– Так-с. А как, я думаю, там теперича хорошо должно быть! Председательствующие, по случаю праздника, в соборе в мундирах стоят… сам генерал, чай, насупившись…

– Ну, пошла, ваше превосходительство, огород горо-

дить! – заметил Бондырев, – ну, скажите на милость, зачем генералу насупившись стоять! чай, для праздника-то Христова и им бровки свои пораздвинуть можно!

– Ах, батюшка мой! насупившись стоит по той причине, что озабочен очень!., обуза ведь не маленькая!

– А по мне, так всего лучше певчие… это восхитительно! – вступилась жена, – при слабости нерв, даже слушать почти невозможно!

– Нет, вот на моей памяти бывали в соборе певчие – так это именно, что всех в слезы приводили! – перебила теща, – уж на что был в ту пору губернатор суровый человек, а и тот воздержаться никак не в силах был! Особливо был тут один черноватенький: запоет, бывало, сначала тихонько-тихонько, а потом и переливается, и переливается… даже словно журчит весь! Авдотья Степановна, второго диакона жена, сказывала, что ему по два дня есть ничего не давывали, чтоб голос чище был!

– Вот распроклятая-то жизнь! – молвил Ермолай Петрович, подмигнув мне глазом, и потом, обращаясь к теще, прибавил: – А как посмотрю я на ваше превосходительство, так все-то у вас одни глупости да малодушества на уме.

Но ее превосходительство, должно быть, уж привыкла к подобным апострофам, потому что, нимало не конфузясь, продолжала:

– Уж я, бывало, так и не дышу, словно туман у меня в глазах, как они это выводить-то зачнут! Да, такой уж у меня

характер: коли перед глазами у меня что-нибудь божественное, так я, можно сказать, сама себя не помню… так это все там и колышется!

Мадам Болдырева глубоко и сосредоточенно вздохнула.

– Да, в деревне ничего этого не увидишь! – сказала она.

– Где увидать! – одни выходы у его превосходительства чего стоят! Все чиновники, бывало, в мундирах стоят, и каждому его превосходительство свой реприманд сделает! И пойдут это потом каждый день закуски да обеды – одних свиней для колбас сколько в батальоне, при солдатской кухне, откармливали!

– Ну, это-то заведенье и доднесь, пожалуй, осталось – скорбеть об этом нечего! – флегматически объяснил Ермолай Петрович. – А что, ваше высокоблагородие, не угодно ли будет повторить от скуки? Водка у нас, осмелюсь вам доложить, отличная: сразу, что называется, ожжет, а потом и пойдет ползком по суставчикам… каждый изноет-с!

– Вот у моего покойника, – снова обратилась ко мне теща, – хорошую водку на стол подавали. Он только и говорит, бывало: «Лучше ничем меня откупщик не почти, а водкой почти!»

– Ну, это опять неосновательно, – заметил Бондырев, – пословица гласит: пей, да ума не пропей, – стало быть, зачем же я из-за водки другие статьи буду неглижировать?

– Да ведь и он, сударь, не неглижировал, а так только к слову это говаривал. Он водку-то через куб, для крепости,

переганивал…

– Ну, а ваши как дела? – спросил я Бондырева.

– Слава богу, ваше высокоблагородие, слава богу! дай бог здоровья добрым начальникам, милостями не оставляют… ныне вот под суд отдали!

– Как так?

– Да просто-с. Чтой-то уж, ваше высокоблагородие, будто и не знаете? чай, и вы тут ручку приложили!

– В первый раз слышу.

– Что ж-с, и тут мудреного нет! известно, не читать же вашим высокоблагородиям всего, что подписывать изволите!

– Скажите, по крайней мере, за что вы отданы под суд?

– А неизвестно-с. Оно конечно, довольно тут на справку вывели, и жизнь-то, кажется, наизнанку всю выворотили… одних неисполнительностей штук до полсотни подыскали – даже подивился я, откуда весь этот сор выгребли. Да-с; тяженька-таки наша служба; губернское-то правление не то чтоб, как мать, по-родительски тебе спустило, а пуще считает тебя, как бы сказать, за подкидыша: ты, дескать, такой-сякой, все зараз сделать должен!

– По пословице, Ермолай Петрович, по пословице! – «Свекровь снохе говорила: сношенька, будет молоть; отдохни – потолки!»

Последние слова произнес неизвестный мне старик, стоявший до сих пор в углу и не принимавший никакого участия в разговоре. По всему было видно, что этот новый со-

беседник принадлежал к числу тех жалких жертв провинциального бюрократизма, которые, преждевременно созрев под сению крючкотворства, столь же преждевременно утрачивают душевные свои силы, вследствие неумеренного употребления водки, и затем на всю жизнь делаются неспособными ни к какому делу или занятию, требующему умственных соображений. Он был одет в вицмундир старинного покроя с узенькими фалдочками и до такой степени порыжелый, что даже самый опытный глаз не мог бы угадать здесь признаков первобытного зеленого цвета. Но всего замечательнее в этом человеке был необыкновенный грибовидный его нос, на котором, как на палитре, сочетались всевозможные цвета, начиная от чисто-телесного и кончая самым темным яхонтовым. Нос этот, как после оказалось, был источником горьких несчастий и глубоких разочарований для своего обладателя.

– Это жаль, однако ж, – сказал я Бондыреву, ощущая невольное угрызение совести при виде человека, которого погибели я сам некоторым образом содействовал.

– Ничего, ваше высокоблагородие! мы в уголовной-то словно в баньке выпаримся… еще бодрей после того будем!

– Это истинно так! – пояснил обладатель носа.

– А что, видно, и тебе горловину-то прочистить хочется? – обратился к нему Бондырев. – Ваше высокоблагородие! позвольте представить! Егор Павлов Абессаломов, служит у меня в вольнонаемных; проку-то от него, признаться, мало, так

больше вот для забавы, для домашних-с держу… Театров у нас нет, так по крайности хоть он развлечет.

– Ну уж, нашли какую замену! – презрительно процедила жена.

– А что ж! по деревне, лучше и быть не надо! – продолжал Ермолай Петрович, – об ину пору он нас, ваше высокоблагородие, до слез мимикой своей смешит!

– Если его высокоблагородию не гнусно, так я и теперь свое представление сделать могу! – отрекомендовался Абессаломов, выпрямляясь как бы пред наитием вдохновения.

– Прикажите, ваше высокоблагородие! Не чем так-то сидеть, так хоть на диковинки наши посмотрите… катай, Абессаломов!

– «Июля пятого числа»… – начал Абессаломов.

– Нет, стой! Не так рассказываешь! – прервал его Ермолай Петрович, – а ты коли охотишься рассказывать, так рассказывай делом: и в позицию стань, и начало сделай! Развозов! марш сюда и ты!

Последние слова относились к молодому человеку, служившему письмоводителем у Бондырева. Как оказалось впоследствии, он должен был в некоторых местах подавать Абессаломову реплику, через что представлению сообщалась особенная живость и вместе с тем усугублялся комизм. Очевидно, что кто-то (чуть ли даже не сам Бондырев) с любовью работал над этой потехой, чтоб возвести ее от простого рассказа до степени драматической пьесы.

Абессаломов стал в позицию, то есть выдвинул вперед одну ногу, правую руку отставил наотмашь и, выпрямившись всем корпусом, голову закинул несколько назад. Все присутствующие улыбались, а некоторые даже откровенно фыркали, заранее предвкушая предстоящее им наслаждение. Абессаломов начал:

НЕВЫГОДНЫЙ НОС
(Интермедия в лицах)

Милостивые господа и госпожи! имею доложить вам о происшествии, которого удивительность равняется лишь его необыкновенности!

Смех в аудитории.

Источником как сего происшествия, так и других многих от него зол текущих, есть сей самый нос (теребит себя за нос), который зде предстоит пред вами! А в чем сие происшествие, тому следуют пункты.

«Ишь ты! по пунктам!» – раздается в аудитории. Смех усиливается.

Июля пятого числа 18** года, в девять часов утра, следовал я, по издревле принятому еще предками нашими обы-

чаю, на службу. Необходимо, однако, предварительно доложить вашим благородиям, что с самого с Петра и Павла, неизвестно от каких причин, подвергнулся я необыкновенной тоске. То есть тоска не тоска, а тянет вот, тянет тебя целый день, да и вся недолга. Даже жена удивлялась. «Чтой-то, говорит, душечка (она у меня в пансионе французскому языку обучалась, так нежное-то обращение знает)! Чтой-то, говорит, душечка! на тебя даже смотреть словно тошно – ты бы хоть водочки выпил!» – «Худо, – говорю я, – худо это, Прасковья Петровна! это большое несчастье обозначает!..» Однако ж выпил в ту пору маленько водочки – оно и поотлегло!

Вот только наступило это пятое число. Не успел я выйти на улицу, как идет мне встречу некоторый озорник, идет и очи на меня пучит. «Вот, говорит, нос! для двух рос, а одному достался!»

Взрыв хохота в аудитории.

Однако я ничего, пошел своей дорогой и даже подумал про себя: «Погоди, брат! не больно прытко! может, у тебя и рыло-то все наизнанку выворотит». Не успел я это, государи мои, подумать, как встречается со мной другой озорник. «А позвольте, говорит, милостливый государь! известно ли вам, что у вас на лице состоит феномен?» И все это, знаете, с усмешкой, и рожа-то у него поганым манером от смеху пе-

рекосилась… «Милостливый государь!» – сказал я, начиная обижаться. «Да нет, – говорит, – вы и сами не понимаете, каким обладаете сокровищем… да господа англичане миллион рублей вам дадут, ежели вы позволите им отрезать… ваш нос!»

Развозов. А что ж, это ведь правда: нос-то у тебя именно феномен!

Абессаломов. Отстань ты… дай говорить!.. Ну-с, отвязался он от меня кое-как, и пришлось мне после того мимо резиденции их превосходительства идти. А их превосходительство, как на грех, на ту пору чай на балконе кушали… Ну, занятиев у них никаких тогда не случилось, смотрели, значит, больше по сторонам, да смотревши и узрели меня, многогрешного. Вскипели. «Что это, говорят, за чиновник? Какой у него противный нос!» Не спорю я… не прекословлю! Точно, что нос мой в присутственном месте терпим быть не может! Однако терпели же меня двадцать пять лет, да и их превосходительство, может, от праздности только заметили… а вышло совсем наоборот-с. Пересказали, должно быть, эти слова мои завистники; только сижу я в этот самый день в присутствии, приходит наш председательствующий, и часа через два, что бы вы думали, я слышу?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.